

МЕФИСТОФЕЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

«Никакая русская идея в голову мне никогда не приходила», — говорит Юрий Кузнецов *Независимая газета. — 1998. — 27 окт. — с. 7*

Пожалуй, ни одному даже из самых эксцентричных модернистов не удавалось так поразить читателей и по-своему взорвать их убаюканный и утробованный советской идеологией душевный покой, как это совершил в начале 70-х Юрий Кузнецов своими по форме сугубо традиционными стихами. Всем сразу стало ясно: в литературу, как слон в посудную лавку, вломился крупный поэт, не вписывающийся ни в какие школярские и эстетические ранжиры. От содержания, которое затапливающей воронкой закручивалось в его темноватых, словно древнерусских, стихах, по коже пробирал мороз. Многие пугающие и возмущающие образы поэта были связаны с его отцом-фронтовиком, погибшим на войне. Он мог сказать: «Я пил из черепа отца». Или на дорожке для него могиле произнести вроде бы кощунственные слова: «— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!.. / Мать в ужасе мне закрывает рот».

Осыпанный восторгами, похвалами и возмущениями, он вскоре обругал и собственных хвалителей, и хулителей, а заодно досталось живым и мертвым классикам, признанным поэтическим авторитетам. В нем появилась некая «забронзовелость», под которой, как мне всегда казалось, бьется живое, равнодушное сердце.

Геннадий Красников

ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ, в свое время вы очень многих раздражили и даже и напугали резкими эстетическими и литературными оценками. Хотелось бы узнать: прошел ли ваш непримиримый максимализм, не жалуете ли вы о каких-то ваших восторженных действиях по сбрасыванию с «корабля современности» всех — от Пушкина до Рубцова, от Ахматовой и Цветаевой до заявлений, что во фронтовом поколении нет ни одного настоящего поэта?

— До сих пор считаю свои оценки правильными и ни о чем не жалею. А напугал я потому, что тогда иерархия ценностей была поставлена с ног на голову. Это тогда. А сейчас вообще никакой такой иерархии нет в помине, или делается вид, что ее нет. Сплошь подмена. Дурное выдается за хорошее, а хорошее за дурное. На глазах царит пошлость, чернуха и порнуха.

И никого никогда я не сбрасывал с «корабля современности» или хотя бы с постаментов. Правда, кого бы я хотел сбросить с постаментов (да и то во сне), так это Маяковского за его антиэстетизм, хамство, культ насилия. Помните: «...досыта изидеваюсь, нахальный, едкий», «Партия — рука миллионная, сжатая в один громадный кулак»?

О женской поэзии как-то не принято судить объективно и по правде. А между тем скептически о ней отзывались не только я, но и Гете, и Пушкин, и Блок...

— Неслабый выстраивается ряд...

— А Николай Заболоцкий, когда его спросили об Анне Ахматовой, расхохотался и заявил, что женщина поэтом быть не может. Мое отношение намного мягче. Вот моя формулировка, которая в свое время наделала много шума: «В поэзии для женщин существует три пути. Истерия (тип Цветаевой), рукоделие (тип Ахматовой) и подражание (общий безликий путь). Кто думает иначе, тот не понимает природы поэзии».

— А чем провинились перед вами фронтовики?..

— Когда-то я выступал на поэтическом вечере в ЦДЛ и хвалил стихи поэта-фронтовика Виктора Кочеткова, а перед этим я действительно сказал о том, что никакого фронтового поколения в поэзии не существует: так назвали себя несколько молодых людей, пришедших с войны и объединенных общими воспоминаниями. Но они и примкнувшие к ним не написали ничего великого, а донесли окопный быт, а не бытие войны, и, кроме двух выдающихся стихотворений (одно Твардовского «Я убит подо Ржев» и другое Исаковского «Враги сожгли родную хату»), не написано ничего значительного о

войне. Но ведь это сухая правда.

— С которой я все же не могу согласиться. Во-первых, потому, что русскую поэзию двадцатого века невозможно представить без прекрасных военных стихов Майорова, Гудзенко, Тарковского, Старшинова, Друниной, Слуцкого, Ваншенкина, того же Виктора Кочеткова... Во-вторых, Толстой в «Севастопольских рассказах» тоже описывал «окопный быт», а из этого выросло бытие войны, ее глубокое общечеловеческое понимание... Но давайте вернемся от этих отрицаний к некоторым сторонам вашей поэтики. Вы — глубоко русский поэт, в этом нет ни малейшего сомнения, но в ваших стихах, как мне иногда казалось, есть какая-то странная черта, нарушающая традицию отечественной литературы: вы, пожалуй, первый, кто привнес в русскую поэзию (в основе своей — женственную, мягкую, милосердную) что-то злое, какое-то германское (по Бердяеву), мужское начало, иногда хочется назвать вас русским Фаустом, играющим в очень опасные игры с непонятными, страшными силами...

— Ничего инородного, злого во мне нет, я бы почувствовал и мучился бы этим, ибо люблю все русское, я узнаю русского человека по самым неуловимым движениям, по тому, как встает, покрывает, да русский человек и вздыхает-то по-русски, чего иностранцу не объяснишь. Немец расчетлив, а я люблю идти напролом, и русские богатыри мне близки. А называть поэта Фаустом — неправомерно. Фауст — ученый, а какой из поэта ученый? Наверно, вы имели в виду Мефистофеля? Это уже ближе к делу. Да, Сатана — персонаж многих моих стихотворений. Да, нечисти немало в моих стихах. Но она не воспета (как, например, у Мильтона и Лермонтова, даже у Булгакова), а заклеймена, заточена в слово, и если мое слово крепко, то сидеть в нем этой нечисти до светопреставления и не высываться нос наружу.

— В ваших лирических стихах, обращенных к женщине, вы нередко эпатируете читателя грубой мужской силой, своеобразным высокомерием («И по шумному кругу, как чарку, / Твое гордое имя пустил»). Это ваш лирический герой такой «крушитель» сердец или это вы сами столь круты в отношениях с женщинами?

— Термин «лирический герой» — фикция, он придуман критиками для литературного удобства. На самом деле поэт пишет только себя. Не принимайте по ошибке чувство собственного достоинства за какое-то несносное высокомерие. Известно, что даже самая нежная, женственная женщина любит силу. Не знаю, как насчет мужской силы, но в моей любовной лирике есть огонь. Что есть, то есть. А каков я в жизни с женщинами, говорить об этом мне, мужчине, не пристало. Открою один секрет любовной лирики (их несколько). В ней бывает то, чего в жизни не было, но могло быть.

— У меня такое ощущение, что вы должны люто ненавидеть поколение «шестидесятников», которые сделали себе громкие имена на «опереточном» диссидентстве и в значительной мере виновны в новой трагедии России в конце XX века...

— Это жалкие, инфантильные люди и не достойны сильной ненависти. Среди них нет ни одного настоящего поэта. Я их всегда презирал.

— У вас есть страшное признание о том, что, как вам кажется, ваш отец погиб на войне не случайно. «Если бы он вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умоузырительной», — говорите вы, — я был бы ненужным поэтом». А сегодняшняя трагедия народа для вас — «умозрительная» или вы связаны с нею какими-то своими новыми личными потерями?

— Никакой умоузырительности и тут нет. Дело в том, что я предвидел новую трагедию народа и развал страны много лет назад и выразил свои предчувствия в поэтических символах. Укажу на три стихотворения — «Дуб» и «Холм» (написаны в 1975 году) и «Знамя с Куликова» (написано в 1977 году). Внутренним слухом я услышал гул и тектонические толчки и пережил их в своей душе. Неудобно цитировать самого себя, но без этого не обойтись. «Знамя с Куликова» написано от первого лица, вот последние строчки:

...Но равное знамя победы
Я вынес на теле моем.



Поэт Юрий Кузнецов.
Фото Николая Кочнева

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.

Никаких дыр в нашей державе в 1977 году не было. А ныне сплошь «дыры российской земли». Все их видят. Так во второй раз я пережил в своей душе трагедию народа и развал державы. Вот это действительно страшно.

— Одна из главных тем вашего творчества — одиночество. Известны ваши стихи: «Одинокий в столетие родном / Я зову в собеседники время». Или: «Я в поколении друга не нашел». Эта общечеловеческая экзистенциальная тема у вас звучит как-то особенно трагически. Кажется, что не только современники не понимают вас, но и сама Россия, сыном которой вы так остро себя ощущаете?

— Впервые трагическим поэт меня назвал критик Александр Михайлов. Всегда и везде я одинок, даже в кругу друзей. Это верно. Сначала мне было досадно, что современники не понимают моих стихов, даже те, которые хвалят. Поглядел я, поглядел на своих современников да и махнул рукой. Ничего, поймут потомки.

— «Звать меня Кузнецов. Я один, / Остальные обман и подделка» — что в этих ваших строках от мании величия, а что от реальной самооценки?

— Никакой мании величия, тут просто чувство собственного достоинства. Это строчки из эпиграммы, а жанр эпиграммы снимает любой высокий тон. Не то у Державина, у него тон высок: «Един есть Бог, один Державин». Каково! Торжественный одический тон не позволяет и тени сомнения, что это не так, что тут мания величия. Все на месте.

— К чему сегодня поэзия? Нужна ли она вообще этому времени, в котором заниматься литературой в глазах общественности так же навечно, как быть честным или любить Родину?

— Я далек от рассуждений, нужна поэзия или не нужна, в какие времена нужна, а в какие нет. Я пишу стихи и не писать их не могу. «В глазах общественности...» Вы говорите о подлой общественности. Вот ей как раз поэзия не нужна. Такая общественность вызывает во мне чувство галливости и отвращения.

— Когда-то вы написали: «Пошел и написал с тоски, / Так русская мысль начинается». Но по этой логике мысль в нашей стране должна прямо-таки фонтанировать, если учесть количество пьющих. Вы под «русской мыслью» разумели «русскую идею» или что-то иное? Что тогда в вашем представлении «русская идея», о которой, видимо, тоже «с тоски» случайно вспомнил наш президент?

— Вы привели только последние строчки из стихотворения «Русская мысль». Это стихотворение мне дорого. В нем заключена тайна русского сознания. Но его вредно понимать на быденном уровне. К сожалению,

именно так его понимают очень многие, в том числе и вы. При этом последние строчки никак нельзя вырывать из контекста и рассматривать их отдельно, тем более по-бытовому толковать. Они живут только в целом стихотворении. А оно таинственно, в нем много пространства. Я вам помогу понять его замысел. Только представьте: если уж русская мысль (имеется в виду великая русская мысль) может родиться в состоянии опьянения, то какой же величины она достигнет, если родится «по-резвому»? Вот так-то. Никакая русская идея в голову мне никогда не приходила. Я не философ, который мыслит понятиями, я поэт и мыслю образами и символами. Ну а наш бедный президент далеко не философ.

— Есть ли что-то такое в сегодняшней жизни, от чего бы вы хотели отвести свой взгляд? Или все-таки поэт, не закрывая глаз, должен видеть все?..

— На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, и многие честные люди в ужасе отводят глаза. Я смотрю в упор. Есть несколько типов поэтов. Я принадлежу к тем, которые глаза не отводят. Но есть другие типы, которые отводят инстинктивно. Они не могут иначе, и упрекать их за это не надо. Например, для Есенина увидеть нашу действительность было бы подобно тому, как если бы он увидел лик Горгоны, от взгляда которой все увидевшие превращались в камень. Есенин бы тоже окаменел на месте. Он тот тип поэта, для которого «лицом к лицу — лица не увидать». А Блок лицом к лицу — лицо увидел... и сгорел.

— «Это снова небесная битва / Отразилась на русской земле», — пишете вы о социальных и гражданских расприх России, но что вы имеете в виду под «небесной битвой», и кто с кем борется там, на небесах? И почему именно Россия должна отражать эту небесную брань, а не какая-нибудь благополучная Америка, к примеру?

— Небесная битва недоступна человеческому разумению. Представляйте ее поэтически. Там, на небесах, боются светлые ангелы с темными. Души добрых людей, оставившие землю, боются на стороне светлых, а души людей, продавшихся дьяволу еще там, на земле, боются на небесах на стороне темных. Вполне вероятно, что Мефистофель, заполучив душу Фауста, отправил бы ее на небесах биться на стороне темных. А на России отражается эта битва потому, что Россия покамест духовна. Америка же давно бездуховна и темна, давно продала душу дьяволу, мамоне, наживе.

— Вами сказано: «Дух безмолвствует в русском народе, / Дух святой и велит нам терпеть». Представляете ли вы границы этого терпения во времени, до какой черты будет длиться это терпение?

— Представления не имею. Тут надо только верить, покамест дух в теле держится.